



ЯЗЫК . СЕМИОТИКА . КУЛЬТУРА



С. С. Аверинцев

**РИТОРИКА
И ИСТОКИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ**



**Школа
«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Москва 1996**

ББК 63.3(0)4

А86

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
согласно проекту 95-06-31828*

Аверинцев С.С.

А86 Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 448 с.

ISBN 5-88766-001-5

Цикл исследований, представленных в этой книге, посвящен выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литературной практики, а в конечном счете между трансформациями европейского рационализма и меняющимся объемом таких простых категорий литературы, как “жанр” и “авторство”. В качестве содержательной альтернативы логико-риторическому подходу, обретшему зрелость в Греции софистов и окончательно исчерпавшему себя в новоевропейском классицизме, рассматривается духовная и словесная культура Библии. Особое внимание уделено роли аристотелевской парадигмы в истории античной, средневековой и новоевропейской культуры.

ББК 63.3(0)4

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su) the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: helle_d@danadata.dk) has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства Школа «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-88766-001-5

© С.С.Аверинцев, 1996

© А.Д.Кошелев. Серия

«Язык. Семиотика. Культура», 1996

© В.П.Коршунов. Оформление серии, 1996

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	7
Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов)	13
Авторство и авторитет	76
Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации	101
Античная риторика и судьбы античного рационализма	115
Древнегреческая поэтика и мировая литература	146
Риторика как подход к обобщению действительности	158
Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости	191
Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории	220
Литературные теории в составе средневекового типа культуры	229
Византийская риторика. Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры	244
Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России	319
Два рождения европейского рационализма	329
Античный риторический идеал и культура Возрождения	347
П Р И Л О Ж Е Н И Е	
<i>Аристотель</i> Риторика. Книга III. <i>Перевод и комментарии</i> <i>С. С. Аверинцева</i>	367
<i>Литература</i>	433
<i>Первые издания публикуемых работ</i>	447

ПРЕДИСЛОВИЕ

Задуматься о предметах, составляющих тематику этого цикла статей, меня заставило ощущение, что в истории культуры есть границы между качественно различными феноменами, отчетливость которых в нашей рефлексии слишком часто затушевывается и размывается привычками упрощенно-эволюционистской мысли.

Навыки эти сказываются, между прочим, в расхожем употреблении простейших терминов. Всякое словесное искусство, плоды которого фиксируются в письменной форме, зовется «литературой», начиная с иероглифических текстов Древнего Египта, вообще с самой что ни на есть архаичной архаики; просто, мол, эта литература, как всякая деятельность человека, «развивается», по всей видимости сохраняя, однако, свою идентичность. Поскольку же людям, какими их знает история культуры, всегда было свойственно заниматься словесным искусством, единственное условие существования литературы — употребление письменности (претворяющее в литературу то, что доселе звалось фольклором). Но людям свойственно также «ценить» произведения словесного искусства, иметь о них более высокое или, напротив, низкое мнение, как-то выражать свое мнение; эту общечеловеческую склонность можно рассматривать как зачаточное состояние критической и даже теоретико-литературной рефлексии, и тогда получится, что литературная критика и теория литературы хотя бы в зачатке существовали тоже «всегда», что их становление можно помыслить как эволюцию от зачатка к зрелым формам, как чисто количественное прибавление качества «развитости».

Как только культура достигает определенного «уровня» — до чего характерно мышление в *квантитативных* категориях, выражающее себя в словечке «уровень»! — потенциальное наличие критико-теоретической рефлексии якобы чуть ли не автоматически становится реальностью. К этому надо добавить, что современная научная мода, в особенности западная, поощряет чрезвычайно расширительное употребление термина «риторика»: нынче модно, например, говорить о «риторике

Ветхого Завета». У этой моды, как у многих не вполне разумных обыкновений, имеются уважительные причины — прежде всего, как кажется, реакция на руссоистско-романтическую абсолютизацию «безыскусности» фольклора и архаики. Разумеется, верно, что словесное поведение человека никогда не бывает стопроцентно, химически чисто «безыскусным»; тем паче на стадии архаики, когда все в той или иной мере подчинено ритуальной норме. Но когда мы любое оформление речи, любое проявление словесного искусства называем «риторикой», теряется ощущение необычного изобретения, сделанного когда-то греческими софистами в острой обстановке сенсации и скандала, которую еще можно почувствовать в Аристофановых «Облаках», не говоря уже о неисчислимом множестве исторических анекдотов. Из-за чего, спрашивается, было горячиться, если риторика была тоже «всегда» и все-навсегда эволюционировала? На этом фоне более благоразумным предстает употребление слова «философия»: правило, систематически нарушаемое, но не вовсе оставляемое даже в наше время, привязывает этот термин к особым формам мысли, сложившимся в Греции между Фалесом и Платоном, пожалуй, также в Индии Шанкары, возможно, в Китае Конфуция и Лао-цзы, — но отнюдь не повсюду, где имелась развитая цивилизация и письменно фиксируемая «мысль» или «мудрость», например, не в Египте, не в Месопотамии. Напротив, слово «наука» часто разделяет судьбу слов «литература» и «риторика», будучи прилагательно к любому накоплению знаний о природе, каковым люди тоже занимались «всегда». Наше словоупотребление не всегда учитывает переворот, которым сопровождалось введение методической самопроверки человеческого знания, каковое впервые превращает это знание в *науку sensu stricto*, в то, что на аристотелевском языке именуется ἐπιστήμη.

Я исходил из убеждения, прежде всего, в том, что литературу, живущую в присутствии риторической теории, отделяет от словесного искусства «вообще» тот же момент систематической рефлексии (по этимологическому смыслу слова *reflexio* — оглядки на себя), который отделяет философию — от извечной мудрости «вообще», а науку — от простой аккумуляции эмпирических сведений под крылом наследуемой из рода в род ремесленной или жреческой традиции; далее, в том, что переход к систематической рефлексии, постановка вопроса о *методе*, будь то метод познания или метод творчества, — не простая эволюция, не простое достижение культурой некоего количественно

понимаемого «уровня», но интеллектуальная революция, принципиальное преобразование основ культуры. Рефлексия по своей сути не «естественна». Человеческому уму «естественно» смотреть не в себя, а *перед* собой или в крайнем случае *над* собой, занимаясь — в более или менее прагматическом контексте быта и обряда — всем на свете от утвари до богов, только не законами собственной деятельности. Человеческой речи также «естественно» иметь темой что угодно, только не самое себя. Напротив, систематически поставить гносеологическую проблему и связанную с ней задачу построения формальной логики, т. е. переориентировать знание с космического и божественного на само же знание, — совершенно не «естественно». Не «естественно» засесть, как Аристотель, за сочинение двух «Аналитик», по две книги каждая, и «Топики» в восьми книгах. Столь же не «естественно» задуматься над выражением мысли в речи, заняться теорией языка, любезной упомянутым выше софистам рефлексией над словом, наконец, систематизацией правил словесного творчества, долженствующих обеспечить оптимальную сообразность индивидуального произведения абстрактному концепту жанра, — написать, как тот же Аристотель, три книги «Риторики» и книгу «Поэтики». В перспективе сознания той публики, для которой несколько ранее писал Аристофан, все это выверт, извращение — к чему мыслить о мысли и говорить о речи, когда есть столько других тем? Разумеется, это точка зрения отсталая, обскурантская, — однако нельзя сказать, что непонятная или бессмысленная.

Допустив систематическую рефлексия, греки начали интеллектуальную авантюру, продолженную другими, в ходе которой ничто не могло остаться в своем прежнем состоянии. Ужас, инстинктивный *horror* души перед тем направлением мысли, когда все человеческое становится объектом рефлексии и через это потенциально релятивизируется, во всяком случае выводится из сферы «естественного», — испуг этот заявлял о себе через тысячелетия после поры софистов, Сократа, Аристофана и Аристотеля. В эмоции отвращения к средневековой схоластике парадоксальным образом объединялись поборники веры, и притом столь различные, как католик Петр Дамиани, православный Максим Грек и отец Реформации Мартин Лютер, — с поборниками самодовлеющего культурного идеала, каковыми были гуманисты Ренессанса. Для людей прошлого столетия расхожей фразой стала укоризна «разъедающей рефлексии». В нашем столетии немец Л. Клагес написал претолстую книгу под названием «Ум (Geist) как противник

души»; а наш Андрей Белый, вообще говоря, не слишком схожий с Аристофаном, как тот, карикатурно изображал своего «Сократа», каковым был тоже не так уж похожий на Сократа неокантианец, ученик Германа Когена, Б. А. Фохт:

На робкий роковой вопрос
 Ответствует философ этот,
 Почесывая бледный нос,
 Что истина, что правда... — метод.

.....

«Жизнь, — шепчет он, остановясь
 Меж зеленеющих могил, —
 Метафизическая связь
 Трансцендентальных предпосылок...»

(«Мой друг», 1908)

Существо дела схвачено точно — «естественное» в человеке бунтует именно против установки на «метод». Но сама живучесть этой негативной эмоциональной реакции связана с ощущением полной непреодолимости, неотвратимости того, что случилось в Греции софистов и Аристотеля. Поворот к рефлексии, к «методу» был трудным делом; но раз сделанного невозможно было переиграть. Отныне только культура с такими основаниями была *правильной*, отвечающей своей дефиниции; любая другая культура в географическом кругу досягаемости античного образца, желавшая быть конкурентоспособной, оказывалась вынуждена перенять аристотелевские правила игры. Христианство изгнало языческих богов, варвары разрушили Римскую империю, начался новый культурный цикл, но упомянутые правила игры продолжали действовать, становясь разве что более жесткими. Христианское богословие и христианская проповедь принимают в себя чуждый Библии инструментарий формализованных процедур дефинирования и силлогического умозаключения; проповедь становится также предметом риторической рефлексии. Еще более поразительно, что Аристотель как автор «Метафизики», логических трудов, но также «Риторики» и «Поэтики» был воспринят совсем уж, казалось бы, чуждой античности арабской культурой ислама; арабы имели, разумеется, специфические проблемы с такими понятиями «Поэтики», как «трагедия», но принцип

рефлексивного подхода, накладываясь на совершенно иную традицию поэтического искусства, сохранил свою идентичность. Вернемся к Европе: Ренессанс резко потеснил схоластику, — но за счет того, что возвысил и расширил права риторики и поэтики, риторического идеала *humanitas*, к коему восходит термин «гуманист», имевший, как известно, значение, весьма отличное от нынешнего.

Лишь существенно позднее новоевропейский рационализм в своем специфическом развитии создал иные парадигмы рефлексии, отличные от силлогистических дедукций по модели Аристотелевой метафизики, или Эвклидовой геометрии, или казуистики римского права. Здесь не место расписывать по пунктам революцию, произведенную Новым временем в переориентировавшихся с дедукции на эксперимент естественных наук; но для знания «гуманитарного» (опять та же *humanitas* аукнулась!) главным открытием был, вне сомнения, *историзм*, подготовленный в XVIII столетии, в веке Джамбаттисты Вико, и выявивший свои возможности уже в следующем столетии, в пору Гегеля и романтиков. Как и открытие дедуктивной рефлексии в древности, открытие этого типа рефлексии вызывает horror, живо описанный различными мыслителями от Ницше («Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben») до Мирча Элиаде; но снова horror этот фиксирует необратимое и универсальное действие открытия на жизнь культуры в целом. В присутствии историзма само понятие *стиля* художественного творчества не может оставаться по-прежнему равным себе; для некоторых искусств, привыкших жить дисциплинирующей принудительностью стиля, прежде всего для архитектуры, это обернулось серьезным кризисом идентичности — эксцессы конструктивизма и направления Корбюзье объяснимы только из отчаянной попытки справиться с историзмом XIX в., обернувшимся для архитектуры безудержной эклектикой. Но и для литературы действие риторической нормативности кончается. Недаром почтенное в веках имя риторики становится со времен романтиков бранным; à propos: из такого контекста, специально связанного с XIX в., читателю, может быть, будет легче понять, в каком смысле я вообще позволяю себе употреблять в моих опытах слово «риторика» как ключевое. Очень часто слово это применяется в обычном обиходе для обозначения декоративных приемов, так сказать, подцвечивающих речь. Подцветка эта сама по себе весьма нередко именно у романтиков и их продолжателей играет чрезвычайно большую роль. Если держаться расхожего словоупотребления, то, конечно, Виктор Гюго — один из

самых «риторичных» авторов; сердечно мною уважаемый М. Л. Гаспаров имеет все основания говорить об индивидуальной риторике Марины Цветаевой. Сознательно и откровенно риторичен наш современник Бродский, еще в молодые годы догадавшийся заметить:

Я заражен обычным классицизмом...

Но стоит нам сказать, как мы только что сказали: «*индивидуальная риторика*», — как все встает на свои места. А для моих нижеследующих рассуждений жизненно важно такое понятие риторики, которое предполагает место для индивидуального стиля только *внутри* дедуктивно определяемой и решительно надличной, даже надвременной нормы. «Риторичность» Виктора Гюго нисколько не мешает тому, что его творчество, его теоретико-литературная мысль (знаменитое предисловие к «Кромвелю», 1827, провозглашающее войну «деспотизму систем, кодификаций и правил») были важными симптомами конца риторики как универсалии литературы и культуры вообще. А уж творчество поздней Цветаевой, все, сверху донизу, — очень яркое выражение того, как далеко ушло время подобных универсалий, время риторики как, по точному выражению безвременно умершего А. В. Михайлова, культуры готового слова.

Но, условно говоря, «конец риторики», конец длинного ряда эпох, когда идея нормы определенным образом формировала даже самые эксцентрические явления и ставила свои задачи рефлексии — это не совсем «конец», просто потому, что мы оказываемся в постриторическом состоянии культуры, что риторика никуда не исчезла, никуда не делась, а просто «снята» (*aufgehoben* в гегелевском смысле слова), что открытая шокировавшими не одного Аристофана софистами рефлексия остается навсегда с нами, как наша судьба и наше достояние.

Октябрь 1995

С. Аверинцев